

Булат
ОКУДЖАВА

Стихотворения



ПОЭЗИЯ
XX
века

Булат Шалвович Окуджава

Стихотворения

ada

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161135

Булат Окуджава. Стихотворения: Профиздат; Москва; 2001

ISBN 5-255-01377-3

Аннотация

В настоящую книгу Булата Шалвовича Окуджавы вошли избранные произведения, написанные поэтом на протяжении почти полувекового творческого пути. В ней широко представлены как известные стихи-песни раннего периода, которые не раз звучали по радио, с концертной эстрады, с киноэкранов, так и стихотворения последних лет.

Содержание

НОВОЕ УТРО	5
* * *	6
ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС	7
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ	9
АНГЕЛЫ	11
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ	13
КОРОЛЬ	15
ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ	17
* * *	19
ПОДМОСКОВЬЕ	20
ВОБЛА	25
* * *	27
* * *	29
ВАНЬКА МОРОЗОВ	30
ГОЛУБОЙ ШАРИК	32
ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК	33
ТАМАНЬ	34
* * *	36
* * *	38
ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ	40
* * *	42
САПОЖНИК	43
ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД	45

ПЕСЕНКА О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОГИНЕ	46
* * *	48
* * *	49
ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ	50
ЖИВОПИСЦЫ	51
* * *	52
АРБАТСКИЙ ДВОРИК	53
ДЖАЗИСТЫ	54
РОДИНА	56
* * *	58
* * *	60
ТЕЛЕГРАФ МОЕЙ ДУШИ	61
* * *	63
* * *	65
* * *	66
* * *	68
БУМАЖНЫЙ СОЛДАТИК	70
* * *	71
О КУЗНЕЧИКАХ	72
* * *	74
СТАРЫЙ ПИДЖАК	75
ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ	76
ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ	77
ОСЕНЬ В КАХЕТИИ	78
ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС	80
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Булат Окуджава

Стихотворения

Посвящаю эту книгу моей маме

НОВОЕ УТРО

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид,
мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.
И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

1957



Пароход попрощается басом,
и пойдет волной его качать...
В жизни я наошибался.
Не пора ли кончать?
Вот я снова собираю пожитки
и... опять совершаю ошибки.
А кто-то кричит мне с порога:
– Это ж не дорога, а морока!...
А мне спешить далеко-далеко:
жизнь не дается на два срока.

1957

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам кружение,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушение,
крушение.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,

стихает.

1957

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не расспрашивая.
Так вот она – передовая!
В ней ничего нет страшного.
Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звонят комары.
Звонят, звонят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.
Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.
А пули звонят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.
Кричу, обессилев,
через хрипоту:
«Пропадаю!»
И к ногам осины,

весь в поту,
припадаю.
Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?...
Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...
И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...
Я, к стволу осины прислонившись, сажу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

1957

АНГЕЛЫ

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за нами вслед.
Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.
Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую, десантную.
Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что – ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску – яблоки.
На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.
О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.
Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.
На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,
как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

1957

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

Е. Евтушенко

Надежда, я вернусь тогда,
когда трубач отбой сыграет,
когда трубу к губам приблизит
и острый локоть отведет.
Надежда, я останусь цел:
не для меня земля сырая,
а для меня — твои тревоги
и добрый мир твоих забот.
Но если целый век пройдет
и ты надеяться устанешь,
надежда, если надо мною
смерть распахнет свои крыла,
ты прикажи, пускай тогда
трубач израненный привстанет,
чтобы последняя граната
меня прикончить не смогла.
Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое новое сражение
ни покачнуло б шар земной,
я все равно паду на той,
на той далекой, на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах

склонятся молча надо мной.

1957

КОРОЛЬ

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему звание короля.

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку – и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота,
(по делам или так, погулять),
все мне чудится что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда, стреляют,
не для Леньки сырая земля.

Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

1957

ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ

Вы слышите, грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...

В затылки наши круглые глядят.

1957



Глаза – неведомые острова
лугов зеленых,
тобою населенных.
Там не в чести слова
и часовые стерегут кордоны.
Там, прямо в утро
окуная головы,
воркуют голуби
задумчиво и мудро.
Там окна плещут
на рассвете ставнями...
А я прикинусь странником,
мешок – за плечи.
Мне нужно в ту страну!
И, поздно или рано,
я зоркую охрану
обману.

ПОДМОСКОВЬЕ

1

Март намечается.
Слезою со щеки
вдруг скатывается издалека...
И вербины цветы, как серые щенки,
ерошат шерсть и просят молока.
И тополи попеременно
босые ноги ставят в снег,
скользя,
шагают, как великие князья, —
как будто безнадежно, но надменно.

2

Кричат за лесом электрички,
от лампы – тени на стене,
и бабочки, как еретички
горят на медленном огне.
Сойди к реке по тропке топкой,

и понесет сквозь тишину
зари вечерней голос тонкий,
ее последнюю струну.
Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды...
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза – к реке,
твердя вечерние молитвы
на тарабарском языке.
Там птицы каркают и стонут.
Синеют к ночи камыши,
и ветры с грустной истомой
все дуют в дудочку души...

3

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.
И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

4

А знаешь ты,
что времени у нас в обрез
и кошельки легки без серебра,
учитель мой, взъерошенный как бес,
живущий в ожидании добра?
Когда-нибудь
окончится осенний рейс,
и выяснится, наконец, кто прав,
и скинет с плеч своих наш поздний лес
табличку медную:
«За нарушение – штраф!»
Когда-нибудь
внезапно стихнет карусель
осенних рощ и неумытых луж,
и только изумленное:
«Ужель
возможно это?!» —
вырвется из душ.
И в небеса

взовьется белый дым змеей,
и, словно по законам волшебства,
мы пролетим над теплою землей
в обнимку,
как кленовая листва...

5

Где-то там, где первый лег ручей,
где пробился корм, парной и смачный,
начинаются бунты грачей
и жуков торжественные свадьбы.
И меж ними, словно меж людьми,
разворачиваются,
как горы,
долгие мистерии любви
и решительные разговоры.
И к коричневым глазам коров,
и к безумным бусинкам кошачьим
подступают из глубин дворов
и согласие и неудачи...
И тогда доносится с небес,
словно мартовская канонада:
– Вы хотите друг без друга,
без маеты?...
– Не надо! Нет, не надо!

1956-1957

ВОБЛА

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.
...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.
И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какой крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.
А когда-то кружек звон, как звон
наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.
...Пятеро голодных сыновей и дочек.

Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

1957



А.Ш.

Нева Петровна, возле вас – все львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы – первая. Я чувствую, что – вы.
Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсant, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.
Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.
Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы – рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.
И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?
Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи

мне третий век забыться не даст.

1957



Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!
Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.
Мы земных земней.
И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.
Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда неожиданный берег
из тумана выйдет к вам.

ВАНЬКА МОРОЗОВ

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.
Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.
Она по проволоке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.
А он швырял большие сотни:
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохла,
и было ей не все равно.
Он на извозчиках катался,
циркачке чтобы угодить,
и соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.
Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?

Ведь сам по проволоке идешь!

1957

ГОЛУБОЙ ШАРИК

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

1957

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНИЩИК

Встань пораньше, встань пораньше,
встань пораньше,
Когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь
как веселый барабанщик
в руки палочки кленовые берет.
Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся – услышишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.
Будет вечер – заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь – и ты увидишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.
Грохот палочек... то ближе он, то дальше.
Сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь,
как веселый барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?!

ТАМАНЬ

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.
А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами – в песок,
к волне – головой.
Грязная волна наползает едва —
приподнимается слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.
Эй, волна!
Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...
Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли – не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.
Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Попомните
трудную щедрость мою.

1958



Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не все подчиняется.
Эту грустную песню
придумала война...
Через час штыковой начинается.
Земля моя, жизнь моя,
свет мой в окне...
На горе врагу улыбнусь я в огне.
Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.
Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
я пойду напрямик
в пулеметное поколачиванье,
в предсмертный крик.
А если, на шаг всего опередив,
достанет меня пуля какая-нибудь,
сложите мои кулаки на груди
и улыбку мою положите на грудь.
Чтоб видели враги мои
и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!
...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, старшина, эту песню допеть.
Пусть хоть что судьбой напроорочится:

хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —
умирать все равно, брат, не хочется.

1958



Я ухожу от пули,
делаю отчаянный рывок.
Я снова живой
на выжженном теле Крыма.
И вырастают
вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной
надежды крылья.
Васильками над бруствером
уцелевшими от огня,
склонившимися
над выжившим отделением,
жизнь моя довоенная
разглядывает меня
с удивленьем.
До первой пули я хвастал:
чего не могу посметь?
До первой пули
врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля,
кого-то накрыла смерть,
а я приготовился
пулю встретить вторую.
Ребята, когда нас выплеснет

из окопа четкий приказ,
не растопчите
этих цветов в наступление:
пусть синими их глазами
глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.

1958

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...

До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Вы не прячьтесь, вы будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат.
И себя не щадите вы!

И все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...

Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мыведем с ними счета потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...

До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

1958



Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.
А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать.
Такие сухари!
Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собирать.
Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты и начальство...
А пули?
Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать, —
война.

САПОЖНИК

Кузьма Иванович – сапожник ласковый.
Он сапоги фасонные тачает.
А черный молоток его, как ласточка,
хвостом своим раздвоенным качает.
Он занят целый день поклонами,
тот молоток. Он по подметкам метит.
А к вечеру – все гвоздики поклеваны,
все сапоги починены на свете.
Я слышу рассуждения домашние,
когда над головою свет потухнет:
кто носит сапоги – пускай донашивает...
А сам Кузьма Иваныч носит туфли.
Постукивает под крыльцом, позевывает
и постепенно понимает вроде,
что ну их к черту, сапоги кирзовые...
А сапоги фасонные не в моде.
Кузьма Иванович, ступай на пенсию:
есть фабрики – военных обошьют.
Но пусть война останется за песнею.
А ласточке твоей пора на юг.
Она хвостом своим качнет раздвоенным,
из рук твоих натруженных рванется
и полетит над грозами, над войнами...
А ты сиди и жди. Она вернется.

1958

ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.
Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.
Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.
И что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

1958

ПЕСЕНКА О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОГИНЕ

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.
За окном все дождик тенькает:
там ненастье во дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.
Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!
На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.
А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.
И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...

Ах, это, братцы, о другом!

1958



Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками – мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста:
шофер в автобусе – мой лучший друг.
А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.
Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улице гулять с другим...
Ах Надя, брось коней кнутом нацелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!
Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немыслимый такой на ней...
Ах Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!
Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!



Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви
по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.
О великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все – рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
О, когда б только эти войска!...
Сквозь зимы и выюги к Москве подступает
весна.
Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди невеликие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.
От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя.

1959

ЖИВОПИСЦЫ

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
словно листья к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.
Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте,
вам зачтется...
Что гадать нам:
удалось – не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы – чужие.
Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.



Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.
Представьте себе:
от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

1959

АРБАТСКИЙ ДВОРИК

...А годы проходят, как песни.

Иначе на мир я гляжу.

Во двореке этом мне тесно,

и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства

для дальних дорог не прошу,

но маленький дворик арбатский

с собой уношу, уношу.

В мешке вещевом и заплечном

лежит в уголке

небольшой,

не слывший, как я, безупречным

тот двор с человечьей душой.

Сильнее я с ним и добрее.

Что нужно еще?

Ничего.

Я руки озябшие грею

о теплые камни его.

ДЖАЗИСТЫ

С. Рассадину

Джазисты уходили в ополчение,
гражданского не скинув облачения.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.
Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли,
и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.
На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.
Но что поделаться, что поделаться, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?
Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.
Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.

И все-таки под музыку Земли
их в поминанье светлое внесли,
когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ.
За упокой.

1959

РОДИНА

Говоришь ты мне слово покоя.
Говоришь ты мне слово любви.
Говоришь ты мне слово такое,
восхищенное слово «Живи!».
Я тобою в мучениях нажит,
в долгих странствиях каждого дня.
Значит, нужен тебе я и важен,
если ты позвала вдруг меня.
Говоришь ты мне долгие сроки.
Говоришь ты мне слово «Твори!».
Мои руки – они твои слуги,
не мои они слуги – твои.
И твое меня греет дыханье.
Значит, с празднествами и бедой,
с мелочами моими, с грехами
я единственный, праведный, твой.
Значит, люб я тебе хоть немного,
если, горечь разлуки клубя,
говоришь ты мне слово «Тревога!»,
отрываешь меня от себя.
И наутро встаю я и снова
отправляюсь в решительный бой...
Остается последнее слово.
Оставляю его за собой.



Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.
Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!
И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!
Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!
Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
перед самым рождением нового дня...
Три сестры, три жены, три судьбы милосердных
открывают последний кредит для меня.



О.Б.

Мы стоим – крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,
и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

1959

ТЕЛЕГРАФ МОЕЙ ДУШИ

С. Ломинадзе

Стихло в улицах вранье.
Замерло движенье.
Улетело воронье
на полях сраженья.
Лишь ползут из тишины,
сердце разрывая,
как извозчики войны,
красные трамваи.
Надеваю шинель —
главную одежду,
понимаю сильнее
всякую надежду.
Замирает в тиши,
чуткий, голосистый,
телеграф моей души:
нет телеграфиста.
Он несет свой синий кант
по сраженьям грозным.
Он уже прописан там.
Там с пропиской просто.
Южный фронт. Бельэтаж.
У конца дороги.
От угла — второй блиндаж...

Вытирайте ноги!

1959



О.Б.

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся – затмить тебя хотят.
Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж – своя!
Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганных дают.
Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.
Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...
Я – алхимик.
Ты – моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.



О.Б.

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!
И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.
Все позабыв – и радости и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.
И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.



О.Б.

Звезды сыплются в густую траву...

Я в деревне Лазаревке живу,
где налево от ворот любых
километры лесов голубых,
где направо от любых ворот
волчьих вотчин невпроворот.

Я в деревне Лазаревке живу,
вдоль по Лазаревке странствую...

Ты пошли мне, Лазаревка, жену,
как ты, Лазаревка, ласковую,
как ты, Лазаревка, крутую в мороз,
как ты, Лазаревка, жаркую;
чтоб звалась она Марфою,
чтобы ей без меня не жилось,
чтобы отражались в тихой заводи
армии Марфиных соловьев,
чтобы таял от тихой зависти
синий снег под пимами ее.

А когда трактора приползают с марша,
тарахтя на все голоса,
чтоб маячила у околицы Марфа,
тоненькая, как лоза.



Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.
Я листаю страницы.

Маячит
пережитое.

Я как в плену.

Вон какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вон какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы,
листаю,
исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы,
летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои все умеют,
все, что было, читаю по ним,
и когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...
Кто там плачет?...
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!

1959

БУМАЖНЫЙ СОЛДАТИК

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.
Он был бы рад – в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.



Б.А.

Рифмы, милые мои,
баловни мои,
гордячки!

Вы – как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы – как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы – как будто шар земной,
вскрикнувший
на повороте.

С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу...
Я как всадник на коне
со склоненной головою...

Господи,
легко ли мне?...

Вам-то
хорошо ль
со мною?...

О КУЗНЕЧИКАХ

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись,
сидят.

Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи...
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой
шевелит,

но заглядывать в работу
один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной барышней
бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце не
лежит.

К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят – пишут белые стихи.
Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек
кропит,

шар земной на повороте
отвратительно скрипит...

Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещий смысл работы той,
и сквозь всякие обиды

пробиваются в века
хлеб (поэма),
жизнь (поэма),
ветка тополя (строка)...

1960



Г.В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?
О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?
Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

1960

СТАРЫЙ ПИДЖАК

Ж.Б.

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».
Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.
Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.
Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ

Ж.Б.

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

– Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одиноким,
одиноким? —

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звезды и круглее и добрее...

– Мама, мама, это я дежурю,
я – дежурный
по апрелю!

– Мой сыночек, вспоминаю все, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек...

Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?

Знать не хочет? —

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звезды и круглее и добрее...

– Что ты, мама! Просто я дежурю,
я – дежурный
по апрелю...

ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

Ж.Б.

По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды – голубых моих судьбы.
По Смоленской дороге – метель в лицо, в лицо,
все нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.
По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

1960

ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Вдруг возник осенний ветер,
и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных
словно в краске утопал.
Были листья странно скроены,
похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи...
Листья падали
на палевые
пальчики
свои.
Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто
по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней
улыбки и страдания,
торжества и увяданья,
колдовства и мастерства.
И у самого порога, где кончается дорога,
веселился и кружился и плясал
хмельной немного
лист осенний,
лист багряный,

лист с нелепою резьбой...

В час, когда печальный ястреб вылетает
на разбой.

1960

ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.